

ГОРОЖАНИН И ДРУГ ГОРОЖАН

Время и судьба

Константина Батюшкова

Что ж, поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан.

О. Э. Мандельштам. «Батюшков»

В Вологде шел снег и пугал краски. Было начало июля. Под лиловым небом, под белым колючим ветром недоуменно ежилась мокрая зелень бульвара. В черной глянцевой мостовой плавилось отражение двухсотлетнего красно-белого дома. Силуэт в окне второго этажа вполне мог принадлежать поэту, который когда-то здесь жил и умер. Сейчас здесь ПТУ, и только две комнаты отданы под музей поэта.

Двадцать два года бродил он тенью в покоях отставного капитана флота Григория Абрамовича Гревенца, своего племянника и опекуна. Бродил и бредил, тайком отламывал стрелки часов, из свечного воска лепил фи-

гурки Тассо, Байрона, Иисуса Христа, рисовал и раздавал многочисленным капитанским детям сумрачные акварели, сердился, если картинка оказывалась не у того ребенка, для которого была нарисована. Говорил он мало, и в основном с самим собой. Все шептал строку из своего стихотворения: «И Кесарь мой — святой косарь». Умолял «не влачить в пыли Карамзина и весь русский язык».

Константин Николаевич Батюшков был болен неизлечимо. Он был безумен всю вторую половину жизни.

Незадолго до кончины он опомнился, проснулся, рассудок его стал ясен. Он вдруг обнаружил, что существует в пространстве и во времени, и, стало быть, ничего не страшно. Ему было шестьдесят шесть лет.

Шел 1853 год. Уже не было в живых ни Пушкина, ни Баратынского, ни Лермонтова, ни Гоголя. Усадебная, неторопливая Россия, страна почтовых трактов, извозчиков, станционных смотрителей, стала страной Николаевской железной дороги, каменных колодцев Петербурга, сторбленных быстрых пешеходов, пасмурных чиновных горожан. Еще через десяток лет русская словесность вложит топор в руку своего сложного мыслящего героя и залепечет о высшей и вечной любви мокрыми губами тихонькой петербургской проститутки. А пока в Вологде больной старик, участник Прусского похода, свидетель пожара Москвы, входивший в Париж адъютантом генерала Раевского, поэт допушкинского

отрочества нашей литературы, пишет свое последнее стихотворение:

Премудро создан я, могу на свет сослаться;
Могу чихнуть, могу зевнуть;
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться.

Когда-то в молодости у Батюшкова возникла в голове странная строка: «У времени примерзли крылья». Он записал ее в черновике. Это оказалось определением его собственного времени. Каждый поэт при жизни и после смерти имеет, кроме имени, еще и время собственное. С ним он ведет свой вечный диалог.

Гений берет эпоху с ее запахами, сплетнями, модами, привычками, с ежедневной каруселью маленьких скучных событий, берет и поднимает до космической вневременной ясности. Будни первой трети девятнадцатого века начинаются с быта семьи Лариных, с онегинского кабинета, с каморки станционного смотрителя Вырина и карточной игры у конногвардейца Нарумова. Телесное, тленное обаяние эпохи выживает только благодаря гению. Девятнадцатый век до зрелого Пушкина для нас далек и темен. Он начинается тогда, когда его изображает гений. И больше уже не кончается.

Гению его время не мешает и не помогает. Он для времени, для конкретной эпохи, в которой довелось

жить, не сын, не пасынок, не герой, не жертва. Они спокойные собеседники на равных. Эпоха может строить козни, жестоко мучить человека разными житейскими обстоятельствами, но она не способна помешать гению. Какие обстоятельства могли помешать Пушкину стать Пушкиным? Об этом можно фантазировать на детском уровне «что было бы, если бы...». Но изменить ничего нельзя. Пушкин гений на все времена, он победитель, и сколько ни швыряли в него камней завистливые современники и потомки, ничего ему не делается.

С талантом все обстоит печальней. Талант целиком зависит от времени, от обстоятельств. Эпоха сама распоряжается им, ломает и мнет, как ей вздумается. Человек, зараженный поэзией, просто талантливый человек, почему-то почти всегда становится пасынком своей эпохи. Он не бывает ни сыном, ни героем. На протяжении полутора веков, включая вторую половину девятнадцатого и почти весь двадцатый, чувство сиротства во времени, чувство зависимости от эпохи с ее жуткими обстоятельствами озвучивалось отдельными строками и целыми стихами. У Цветаевой яркая горькая паника: «В этом христианнейшем из миров поэты — жида». У Ахматовой спокойная констатация факта: «Здесь все меня переживет».

Но первым это осознал Батюшков. Осознал и сошел с ума. Время сыграло с ним злую шутку. Современник

Карамзина и Жуковского, близкий предшественник Пушкина, он дожил до времен Некрасова и Фета, Толстого и Достоевского, и успел страшно мало написать. Мешали обстоятельства. Записные книжки насыщены планами, набросками, замыслами. Жизнь его — пунктирный набросок. Творчество — шкатулка с чудесами, с обломками драгоценных случайностей.

В литературоведении существует шесть полновесных, как чугунные гири, определений поэта Батюшкова: неоклассик, предромантик, романтик, реалист, представитель «легкой поэзии», карамзинист. Белинский сказал о нем веско и грозно: «талант, задушенный временем». Еще железней выразился критик Айхенвальд: «Батюшков затмился и растворился в Пушкине, так что в известном смысле он теперь больше не нужен».

Ну, да Бог им всем судья, господам критикам. Батюшкову в истории литературы и так неуютно, а тут еще они со своими гирями.

Чуть ли не самым значительным произведением поэта принято считать элегию «Умиравший Тасс». В 1817 году он написал своему близкому другу, Гнедичу: «Я послал тебе «Умиравшего Тасса», а сестрица послала тебе чулки; не знаю, что более тебе понравится, и что прочней, а до потомства ни стихи, ни чулки не дойдут, в этом я уверен».

Батюшков считал себя неудачником и в записных книжках перечислял следующие резоны:

«Первый резон: мал ростом. 2-й — не довольно до-роден; 3-й — рассеян».

Далее, в столбик, по номерам: «не чиновен, не зна-тен, не богат, не женат, не умею играть в бостон и в вист, ни в шах, ни в мат».

В письмах Гнедичу он оправдывался перед ним и перед собой: «Какую жизнь я вел для стихов? Три вой-ны, все на коне, и в мире — на большой дороге. Спра-шиваю тебя — в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное?»

Старинный боярский род Батюшковых с Екате-ринских времен нес на себе некую печать, то ли не-везения, то ли чего-то худшего. Двоюродный дед поэта участвовал в дворянской оппозиции. Целью заговор-щиков было убийство Екатерины II или пострижение ее в монахини. Пятнадцатилетний Николай Львович Батюшков, отец поэта, был привлечен своим дядюш-кой к заговору против государыни. Дядюшку разобла-чили, сослали на дальний север, где он вскоре поме-шался. Юного племянника помиловали. Навек напу-ганный Николай Львович поселился в отдаленном имении Даниловском и бестолковыми хозяйственны-ми мероприятиями вдохновенно губил и без того нищее имение. В семье его рождались одни только девочки, и только в 1787-м на свет появился долгож-данный сын.

В семилетнем возрасте Константин лишился матери. Александра Григорьевна Батюшкова, урожденная Бердяева, умерла в полном безумии, вдали от детей, в Петербурге. Отец был человеком взбалмошным и деспотичным. Мальчик, соответственно, рос нервным и робким. О семейной склонности к душевным заболеваниям по отцовской и материнской линии он знал с детства.

Юноша Батюшков сказал о себе: «Душою в людстве сир». А впрочем, как же не чувствовать себя сиротой, когда у тебя в семь лет мама умерла? Жизнь, обычная, будничная, перестала ему нравиться раз и навсегда. Он представлял ее совсем иначе. Он хотел быть поэтом, и каждый вечер, укладываясь спать, мечтал проснуться поэтом. А получалось какое-то недоразумение. Вот его послужной список: канцелярский письмоводитель, библиотечный служащий, офицер в глухом захолустье, где-то в Каменец-Подольске.

Что касается литературного заработка, он тогда был вообще немыслим. Редакторы журналов благодарили авторов «за прекрасный подарок». Книги издавались за собственный счет, или за счет друзей-меценатов. Первые литературные гонорары стали выплачивать авторам издатели «Полярной звезды» Бестужев и Рылеев. Это было в 1823-м. А в 1825-м Пушкин, сравнивая положение русского литератора с европейским, писал: «Там пишут для денег, а у нас из тщеславия. Там стиха-

ми живут, а у нас граф Хвостов прожился на них. Там есть нечего — так пишут книгу, а у нас есть нечего — так служи, да не сочиняй».

Вот бедный Батюшков и служил. Это мешало ему сочинять.

«Жить в обществе, носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных, и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы — есть требование истинно суетное. Что образ жизни действует сильно и постоянно на талант, в том нет сомнения... Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека. Я желаю — пускай назовут мое желание странным! — желаю, чтобы поэту приписали особый образ жизни, пиитическую диетику...»

Дело, конечно, было не в мечте о «диетике». Просто хотелось писать стихи, а на это не оставалось времени. И денег всегда не хватало. И вообще, жилось неуютно, одиноко. Отроческое одиночество, предромантический озноб маленького незащищенного человека, обманутого жизнью, обстоятельствами и людьми, тоже, в общем, маленькими, но не предромантическими, а самыми обычными, — все это уже появилось в нашей словесности. «Бедная Лиза» Карамзина. Обманутая любовь, поруганная чистота. Проза «Золотого века» начиналась с простого чистого сострадания обиженному существу. Потом, через несколько десятилетий, маленькие поруганные героини вместо того, чтобы топиться, примутся

спасать заблудшие души героев. Одна поруганная пойдет на каторгу за философом-убийцей, другая, наоборот, сама убийца, увлечет за собой на каторгу своего погубителя-растлителя.

Но пока только самое начало девятнадцатого века, только предромантический озноб словесности, и маленькая героиня торгует цветами, а не собой.

«В молодости мы полагаем, что люди добры или злы; они белы или черны. Вступая в средние лета, открываем людей ни совершенно черных, ни совершенно белых. Монтень сказал бы: серых... надобно жить с серыми, или жить в Диогеновой бочке».

Так, в записных книжках 1817 года, Батюшков робко констатирует собственное восприятие жизни. Но одно дело — житейский опыт, банальный и серый, и совсем другое — литература. Там все должно быть возвышенно и благородно. Какой такой житейский опыт? Надобно жить, служить, деньги зарабатывать. А хочется писать стихи. О чем же? О Торкватто Тассо? О древних греках и римлянах? О кудрявых водопадах, о море бедствий и розах сладострастья?

«Жить дома и садить капусту я умею, но у меня нет ни дома, ни капусты».

А время уходит, драгоценное время, которое можно было бы потратить на стихи; беспощадное, прожорливое время, с которым никогда, даже при самых благоприятных обстоятельствах, не получалось диалога на

равных. Оно, время, для поэта отчим, злой, всемогущий и равнодушный. Оно чудовище, от которого хочется спрятаться, а вот некуда, везде достигнет и все поглотит...

Жуковский, время все поглотит —
Тебя, меня и славы дым....

Впрочем, не так уж печально обстоят дела. Пока перед нами образованный пылкий юноша самого начала XIX века. В 1807-м Батюшков записался в ополчение и участвовал в Прусском походе. Был ранен в ногу под Гейльсбергом. В одно из писем Гнедичу вложил картинку, набросок пером: кудрявый молодой человек в сюртуке стоит на одной ноге, опираясь на костыли. («Имей в виду, на костылях я очень забавен».)

Выздоровливая в Риге, в доме негоцианта Мюгеля, Батюшков влюбился в хозяйскую дочку Эмилию. Писал отцу в Даниловское, просил благословения. Получил гневный отказ: «Как! Потомственному русскому дворянину жениться на купеческой дочке? Проклянута и лишена наследства!». Торговец Мюгель не желал отдавать дочь за нищего.

Батюшков предложил возлюбленной бежать. Эмилия была девушкой нежной и пылкой, но рассудительной. «Надо же на что-то жить!»

Впрочем, и с родительским благословением жить

Батюшкову было бы не на что. Ни дома, ни капусты. Так никогда ничего этого и не будет: ни дома, ни жены, ни детей. Зато будет война.

В 1813 году Батюшков отправился в действующую армию, в Дрезден, и стал адъютантом Раевского. Участвовал во взятии Парижа. Писал друзьям веселые письма о парижских театрах, о Лувре, о замке Сире. В письмах рассказывал анекдоты.

«Одного русского генерала спросили:

— Ваше превосходительство, что вам больше всего понравилось в Париже?

— Казаки, господа, казаки! — отвечал генерал».

Батюшкову, в отличие от генерала, в Париже больше всего понравились ноги. «Прелестные ноги прелестнейших женщин в мире».

Итак, пока все прекрасно. Война окончена. Вдоволь нагулявшись по Парижу, Батюшков отправился домой. Ему хотелось покоя. Он стремился за письменный стол. «Пора бледнеть над рифмами». Но бледнеть ему предстояло прежде всего от любви (впрочем, одно другому не мешает).

В 1813 году он увлекся воспитанницей Олениных девицей Анной Фурман. Просил руки. Получил отказ. Страдал всерьез. Эта страсть оказалась мучительней, чем юношеское увлечение купеческой дочкой Эмилией. Это была главная любовь в его жизни. Позже Анна согласилась стать его женой, но он уже чувствовал,

что болен. А может, просто перегорел, перестрадал? Слишком уж красиво сформулировал причину отказа от руки и сердца любимой женщины: «Жертвовать собою позволено, жертвовать другими могут только злые сердца!»

В 1815 году художник Кипренский запечатлел поэта Батюшкова. Молодой человек с бакенбардами. Острый нос, пухлый детский рот, вполне поэтический взгляд. И все же в позе, в наклоне головы — напряженность, беспокойство. Может, просто уставал позировать Кипренскому?

А вот словесный портрет: «Батюшков был небольшого роста, у него были высокие плечи, впалая грудь, русые волосы, вьющиеся от природы, голубые глаза и томный взор. Оттенок меланхолии во всех чертах его лица соответствовал его бледности и мягкости его голоса, и это придавало всей его физиономии какое-то неуловимое выражение. Он обладал поэтическим воображением; еще более поэзии было в его душе. Он был энтузиаст всего прекрасного» (перевод с французского рукописи Е. Г. Пушкиной).

В начале XIX века поэт обязан был выглядеть бледным, томным, иметь неуловимое выражение всей своей физиономии и быть энтузиастом всего прекрасного.

«Дух пылкий и довольно странный» у пушкинского Ленского, у бедного влюбленного романтика, убитого в расцвете лет. Между прочим, в России все романти-

ки обязаны быть последними и погибать молодыми. А что же им еще остается? Жить дома и садить капусту? Нет уж, милый, изволь соответствовать своему образу до конца.

У пушкинского Чарского, поэта из «Египетских ночей», те же проблемы: «В журналах звали его поэтом, а в лакейских — сочинителем... Зло, самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его прозвище, которым он заклеямен и которое никогда от него не отпадет».

Пушкин уже перешагнул социальный барьер, отделяющий аристократа древней крови от труженика, коим является профессиональный литератор. Литературный заработок стал для него прямым источником существования. Для его старших современников проблема заработка была настоящей бедой. Родительские имения уже не давали доходов. «Добрый приятель» Онегин — просто баловень судьбы. Дядюшкино наследство спасло его от прозаической чиновничьей должности, от необходимости зарабатывать — еще не на хлеб, но уже на бобровый воротник, на дорогие безделки в своем красивом кабинете, на счастье хандрить и скучать.

Между прочим, сам образ скучающего молодого человека впервые промелькнул именно у томного Батюшкова. Вот она, бледная тень будущего пушкинского героя:

Который посреди рассеяний столицы
Тихонько замечал характеры и лица
Забавных москвичей,
Который год зевал на балах богачей,
Зевал в концерте и в собрании,
Зевал на скачке, на гулянье,
Везде равно зевал...

Набросок. Не более. Легкий пунктир. А вот еще пунктир, на этот раз в прозе:

«Жил на Пресненских прудах некто Н. Н., оригинал, весьма отличный от всех оригиналов московских. Всю жизнь он провел лежа, в совершенном бездействии телесном и, сколько возможно, душевном».

Тут откуда-то из вневременного далека машет вялой пухлой рукой родимая тень Ильи Ильича Обломова.

А кто первым обозвал девятнадцатый век «железным»? Батюшков, причем еще в 1809. Это определение мелькнуло в скобках в его знаменитой сатире «Видение на берегах Леты», написанной в 1809 году. Через двадцать пять лет, в стихотворении «Последний поэт», Баратынский скажет: «Век шествует своим путем железным». И уже в двадцатом, в переключку вступит Блок:

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век.

Хотя не такой он, в сущности, был и жестокий, и не такой железный, во всяком случае, по сравнению с двадцатым.

Сколько еще у Батюшкова этих пунктиров? Сколько теней из будущего неприкаянно бродило по страницам его записных книжек?

«Ему около тридцати лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра — ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инок. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое умирал. В походе никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнью с чудесной беспечностью, которой сам удивлялся; в мире для него все тягостно, и малейшая обязанность, какого бы рода ни была, есть тягостное бремя».

Это из записных книжек 1817 года, о самом себе. Очередной набросок автопортрета.

А это уже совсем другая проза: «Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все иззябнут, устанут, — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь от смеха...»

Портрет Печорина, увиденного глазами Максима Максимовича.

Странная закономерность — самые неожиданные пунктиры, самые четкие тени из будущей русской литературы появлялись у Батюшкова тогда, когда он писал о себе. В нем, живом, «не чиновном, не знатном, не богатом», в офицере трех войн, неприкаянном, одиноком человеке, уже не помещике, еще не чиновнике, сосредоточились все самые трагические и несуразные черты будущих героев Пушкина и Лермонтова. Может, родился он десятью годами позже, он бы «не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума». Однако родился он, когда родился. Поэтом сделался потому, что «ни дня без рифм, без стоп не можно проводить». Сошел с ума потому, что болезнь была в крови. И умер дважды. В 1823-м для литературы, а потом, в 1855-м, скончался в Вологде от тифозной горячки помешанный старик.

Впрочем, речь пока о молодом поэте, изобразившем самого себя в странном отрывке. Забавно, что именно на 1817 год пришелся для Батюшкова расцвет его литературной жизни. «Арзамас», знакомство с Пушкиным, выход в свет книги «Опыты в стихах и прозе». Чем не «поэтическая диета»? И служебные дела складывались неплохо. В 1818-м Батюшкова отправили на дипломатическую службу в Италию. Вот тут бы и творить, и жить, переписывать черновики, превращать наброски и планы в нечто большее. Однако нет. Из теплой прекрас-

ной поэтической Италии он написал Жуковскому: «Посреди всех чудес удивись перемене, которая во мне сделалась, — я вовсе не могу писать стихов».

Как раз в это время на страницах журнала «Сын отечества» появилось стихотворение молодого поэта П. А. Плетнева «Б...ов из Рима». Подписи не было, и публика приписала авторство Батюшкову. Смысл слабенькой элегии сводился к признанию поэта в своем творческом бессилии. Батюшков воспринял публикацию как пасквиль и одновременно как злое пророчество. Он отправил на родину такой ответ:

«Г.г. издателям журнала «Сын отечества» и других русских журналов.

Прошу Вас покорнейше известить Ваших читателей, что я не принимал, не принимаю и не буду принимать ни малейшего участия в издании журнала «Сын отечества»... Дабы впредь избежать и тени подозрения, объявляю, что я, в бытность мою в чужих краях, ничего не писал и ничего не буду печатать под моим именем».

Через некоторое время он подает прошение царю — разрешить ему удалиться в монастырь и постричься в монахи. На это следует ответ Александра I:

«1. Объявить Батюшкову, что прежде изъявления согласия на пострижение, государю угодно, чтобы он ехал лечиться в Дерпт, а может быть, и далее.

2. Выдать Жуковскому пожалование 500 червонцев на путевые издержки Батюшкова.

3. Назначить для сопровождения курьера».

По дороге он постоянно сбегал, то в лес, то в поле. Его находили спящим где-нибудь на обочине, с трудом возвращали. Василий Андреевич Жуковский и царский курьер, сопровождавшие его, намучились с ним.

Дольше всех не мог поверить в безумие Батюшкова Пушкин. В 1822-м он писал Вяземскому из Петербурга в Москву: «Мне писали, что Батюшков помешался: быть нельзя; уничтожь это вранье».

Брату Льву в 1823-м, из Кишинева в Петербург: «Батюшков в Крыму. Орлов с ним видался часто. Кажется мне, он от ума шутит».

В 1823-м Батюшков трижды покушался на самоубийство, сжег свою библиотеку. В 1824-м сестра увезла его в Саксонию, в психиатрическую лечебницу. Летом 1828-го его вернули на родину, уже без малейшей надежды на выздоровление. К весне 1830-го он был при смерти.

Пушкин — Вяземскому, вторая половина марта 1830 года, из Москвы в Петербург: «Наше житье сносно. Дядя жив. Дмитриев очень мил. Зубков член клуба. Ушаков крив. Батюшков умирает...»

Но он не умер. Уже был вызван священник, и многие пришли прощаться. В доме на Тишинах 22 марта была отслужена всенощная. Лечивший его доктор Дитрих записал в своем дневнике:

«Певчие пели посредством, но издали пение трогало больного. Двери были раскрыты, и звуки доноси-

лись до него. Он лежал неподвижно на диване с сомкнутыми глазами и даже не пошевелился, когда на стол к нему поставили свечу. Поэт Александр Пушкин, бывший во время службы вместе с Муравьевой и кн. Вяземской, подошел к столу, у которого лежал больной, и оживленно стал что-то говорить ему. Больной не шевельнулся...»

Нет, он не умер. Но о нем, о живом, уже писали как о мертвом. В самом деле, какое отношение имел этот измученный, помешанный человек к многообещающему поэту, к пламенному арзамасцу?

Больного увезли к родственникам в Вологду.

Зимой 1847-го Батюшкова приехал навестить Н. В. Берг. Батюшков молча стоял у окна, а Берг быстрыми штрихами набрасывал его портрет со спины. Больной Батюшков смотрел на метель и бормотал одну из своих безделок, эпиграмму на самого себя, написанную давно, еще до болезни:

Как бешеный, ищу развязки
своей непостижимой сказки,
которой имя: свет!

Может быть, он видел ту самую метель, которая поднялась по прихоти каких-то диких циклонов в Вологде, в июле 1983 года? Почему бы и нет, если так отчет-

ливо вижу его силуэт в окне я, стоя в этой июльской метели, замерзая и удивляясь длинным отчетливым теням, которые будущее отбрасывает в прошлое, а прошлое в будущее. Эти тени — темные живые крылья времени. Они примерзли. Это почти так же больно, как если лизнуть железо на морозе. Кто пробовал в детстве, тот поймет.

*Вологда—Москва,
лето 1983*

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ О КОНСТАНТИНЕ БАТЮШКОВЕ

1

Мы все с Невы поэты росски, —
сказала тень...
К. Н. Батюшков

На что вам, Петербург, моя любовь?
Я пролетел в чиновном маскараде,
В трактирах ел, в каминах жег тетради,
Служил, кружил в гостиных, был таков.

Мне, Петербург, не жаловали вы
Ни праздности, ни должности полезной,
Над вашей геометрией железной
Я не ломал вовеки головы.

Я лихорадку ваших сквозняков
Не впитывал доверчивою кожей,
Среди сосредоточенных прохожих
Слонялся, одинок и бестолков.

Постукивая тростью парапет,
Глядел на абрис Аничкова моста,
Ваш пасынок, ваш пламенный подросток,
Уже поэт, еще не ваш поэт.

Вы, Петербург, летите на коне,
Колотите по воздуху копытом,
А мне не довелось лежать убитым
За воздух ваш в немецкой стороне.

Вонь подворотен, набережных стать —
За это мне расплачиваться нечем.
Продрогшим пешеходом вашим вечным
Мне, Петербург, как видите, не стать.

2

О счастье, я стою на Рейнских берегах!

К. Н. Батюшков

Круглым глазом кобыла сверкала,
Колотила копытом песок.
Горьким порохом гордого галла
В гриве каждый дышал волосок.

Рейн дрожал и светился стеклянно
Возле легких кобылих копыт.
Воин думал: «Когда бы не Анна,
Я, наверное, был бы убит».

Лепет листьев и плеск трясогузки.
Воин думал и трубку курил.
А поэт что-то нежно, по-русски,
Как ребенку, реке говорил.

Бог, отечество, слава, победа...
Как глагольная рифма кругла!
Если б Анна любила поэта,
Если б воина Анна ждала...

3

Мне писали, что Батюшков помешался: быть
нельзя; уничтожь это вранье.

*А. С. Пушкин — Л. С. Пушкину,
Кишинев, 1822 г.*

У времени примерзли крылья...
К. Н. Батюшков

Все вы пишете, да пишете,
На морозны окна дышите.
В белом снеге — баба белая,
Красноротая, дебелая,
А за бабой город Вологда,
Небеса на крест наколоты.
Память — битая посудина.
Время... Время тень Иудина.
Тень проклятая, текучая,
Снегом Вологды закручена,
Колокольным звоном залита...
Вы пишете крепко, намертво,

Больно уж бумага лакома
Нежному огню каминному,
Вон, у вас окно заплакало,
Тень Иудина раскинула
Крылья над столом, над комнатой.
Время носится над Вологдой.
Тень лохматая, саженная
Напугала, закрутила...
Помолитесь за блаженного
Батюшкова Константина.

1893